МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Очерк о советском музейщике, пушкинисте, директоре Пушкинского заповедника Семене Гейченко.

- Юрий Нагибин
  - ◯

Юрий Нагибин
Хранитель Лукоморья

В Успенском соборе Святогорского монастыря стоял такой холод, какой может быть лишь в неотапливаемом русском храме студеной вьюжной февральской ночью. Казалось, вьюга проникла вместе с нами внутрь собора: пламя тонких свечек в закоченевших руках то начинало метаться, то вытягивалось длинным языком, гоня кверху тени, то пригибалось долу. Пар от дыхания оседал инеем на воротниках наших шуб, на стенах и потолке соборного придела, где сто тридцать четыре года назад, хоть и не день в день, стоял гроб с телом Пушкина, доставленный сюда попечением Александра Тургенева и дядьки поэта Никиты Козлова, в сопутствии жандармского капитана Ракеева.

К изножию воображаемого гроба широко шагнул высокий, худой, с резко высеченным лицом Семен Степанович Гейченко, хранитель Пушкинского заповедника, — как-то не идет к нему сухое, официальное «директор» — и, взмахнув, как крылом, пустым левым рукавом шубейки, заговорил доверительно, огорченно и убеждающе:

— Прости, Бога ради, Александр Сергеевич, что не сниму я нынче шапку. Каждый год страшнейше простужаюсь в этом холоде. Старое корыто — ничего не поделаешь!..

Вокруг стояли разные люди: пушкинисты, писатели, художники — давние гости заповедника и сердечные друзья самого Гейченко, а еще — молодые ленинградские артисты, участники торжественного — вечера, и просто случайные зашельцы. Никто не улыбнулся, не сделал больших глаз, не перемигнулся с соседом: мол, чудит старик! Даже люди, сроду не бывавшие здесь, не осведомленные о своеобычной повадке Гейченко, восприняли его слова как нечто вполне естественное. Он был так серьезен и прост, так по-домашнему огорчен тем малым непочтением, какое оказывал сегодня Пушкину, не сняв с головы поношенной меховой шапки, что каждая живая душа в этом промозглом, озаряемом слабыми свечками храме поняла его веру в незримое присутствие Пушкина.

А затем Гейченко стал рассказывать, как внесли сюда тяжелый холодный гроб с маленьким, каменно закоченевшим в долгом пути из Петербурга телом Пушкина, как горели и оплавлялись свечки в руках Михайловских дворовых, и в который раз меня пронизало чувство, будто слышу голос очевидца. Право же, Гейченко был в Михайловском во времена Пушкина, делил

печали и утехи ссыльного поэта, толкался с ним по базарам, слушал песни цыган, ездил в Тригорское к Осиповым-Вульф, потешался над попом-шкодой, внимал плавным речам Арины Родионовны, томился его тоской по друзьям и свету, радовался сроднению с негромкой сельской жизнью, а в час расставания в мерзлом храме коснулся губами ледяного чела поэта…

Друзья прозвали Семена Степановича Михайловским домовым. Тут нет и тени насмешки. Он это знает и, приняв дружеское прозвище, нередко так и подписывается в письмах. Мне думается, прозвище даже немного льстит хранителю лукоморья — ведь с какой доверительной нежностью обращался Пушкин к своему домовому:

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес, и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель.

Поручая заботе и призору домового зеленый мир Михайловского, столь дружественный музе, поэт трогательно напоминал, что эти холмы, луга, прохладные липы и шумные клены «знакомы вдохновенью».

Не в укор старому домовому — да и кто отважится на подобную вольность с доброй нежитью, воспетой Пушкиным? — скажу, что нынешний Михайловский радетель не нуждается в поэтическом заклинании беречь «зеленый скат холмов». Он всегда, неусыпно на страже…

Мы, друзья Гейченко, завсегдатаи пушкинских мест, слушая живые, то нежные, то забористые, рассказы Семена Степановича о разных разностях и нынешней, и минувшей жизни, нередко принимались упрашивать его взяться за перо. Он так полон сведений о Пушкине, о людях, деливших и усугублявших сельское одиночество поэта, об окружавших его вещах, он принял разрушенное, сожженное, взорванное фашистами пушкинское гнездо и, собрав его по щепке, по камешку, восстановил первозданный образ, — кому же, как не ему, рассказать обо всем этом читателям! Потом оказалось, что Гейченко давно уже в секрете от друзей поверяет свои думы и воспоминания бумаге. Для своих записей он избрал форму маленьких новелл, порой приближающихся к стихотворениям в прозе, только без тургеневской напевности. Это строгая, мужественная проза, не заигрывающая с поэзией, но насыщенная лиризмом.

Мне посчастливилось в свое время с голоса Гейченко услышать два или три коротеньких рассказа, они меня

обрадовали и насторожили… Хватит ли у автора душевного и физического времени на целую книгу подобных, тонкого словесного отбора, новелл? Гейченко — человек почти непрерывного активного действия; Покой чужд ему по самой его природе. Он вечно снует по усадьбе и окрестностям, что-то выискивает, вынюхивает и обычно находит, он спорит, ругается и проповедует, выдумывает, изобретает, он обуян идеей превратить Михайловское в некую поэтическую Мекку и немало преуспел в этом, он ведет громадную переписку, участвует во всевозможных Пушкинских чтениях и ученых заседаниях, много и страстно читает. Сможет ли такой человек выделить те часы полной тишины, остановки, забвения всех забот, какие необходимы для творчества? И я испытывал сложное чувство, взяв впервые в руки книгу «У лукоморья», — к радости, что закончился долгий, укромный труд, к надежде на душевное, кровное сроднение с миром значительного и близкого человека примешивались крупицы боязни: а сохранилась ли неповторимая доверительная интонация, чаровавшая меня в часы Михайловского сумерничанья, этот интимный голос будто бы соучастника, сообщника пушкинских Михайловских дней, не пересечется ли нотой научно-музейного бесстрастия та песнь и тот плач о Пушкине, чем были все его речи? Короче, останется ли Гейченко самим собой в державе чужого ремесла?

Видимо, я не понимал Семена Степановича. Он не просто одаренная, артистическая натура, щедро озвученная сочной, ароматной русской речью, он — настоящий литератор, писание для него не препятствие, а кратчайший путь к самовыражению.

В новеллах слышится его голос, они полны трепета, доброты, гнева, жалости, иронии, всей игры таинственной человечьей сути. До этого о Михайловском писались очень добропорядочные, обстоятельные, содержательные книги. Можно подумать, что авторы этих книг были призваны искупить своей добропорядочностью сверкающий дерзостный гений великого Михайловского насельника. Но вот лукоморье дождалось своего певца и многоцветно, многозвучно ожило. С Орфеевых времен ведомо, что песня обладает животворной силой.

В своих коротеньких новеллах С. Гейченко пишет о том, о чем другие авторы не писали, он тщательно избегает повторений. Видимо, поэтому он обходит вниманием родовитых друзей, знакомцев, соседей Пушкина, делая единственное исключение для доброго и верного Александра Ивановича Тургенева, проводившего поэта в последний путь. Да ведь о людях, принадлежавших к одному с Пушкиным кругу, написано так много! Куда меньше известно о тех простых и безродных, что

составляли скромное окружение поэта в годы Михайловской ссылки или же случайно мелькнули на его пути, но оставили свой мазок на полотне его бытия. И справедливо заслуживают внимания — помимо Арины Родионовны, и так щедро взысканной русской литературой, — преданный дядька Никита Козлов, несчастный староста Михайло Калашников, отец пушкинской деревенской любови, шальной поп-шкода, купеческий сын Жан Лапин, смешной и трогательный поклонник поэта, дворовые люди сельца Михайловского, а равно и те обитатели Святых гор, что хранили изустные предания о поэте.

Иногда отправной точкой для Гейченко служат слова пушкинского стихотворения, или выдержка из дневника игумена Святогорского монастыря, или список ревизских душ, или строчка из тайного донесения служителя «святого дела сыска», или какой-нибудь предмет домашнего обихода, чудом уцелевший во всех жестоких испытаниях, выпавших на долю Михайловского. Не то чтобы Гейченко стремится возродить некие поэтические постройки на зыбком фундаменте случайных фактов и домыслов. Нет, как настоящий исследователь, он пытается дойти до самой сути, отыскать конечный смысл в малости частного наблюдения. Гейченко до дна души уверовал в совершенную конкретность пушкинской музы. Поэт не ткал из призрачных нитей мечты, он изображал подлинную, наблюденную действительность. Он словно принял присягу: говорить правду, только правду, ничего, кроме правды. Уверенность в неслучайности и полной достоверности каждого пушкинского образа привела Гейченко к нескольким любопытным открытиям, причем не только литературного ряда. Так, упоминание в «Евгении Онегине» о «часовне ветхой» заставило Гейченко настойчиво и неутомимо отыскивать на территории усадьбы эту часовню, хотя и не было никаких материальных свидетельств ее былого существования. Гейченко «высчитал» эту часовню, как астроном высчитывает звезду. И действительно в конце концов обнаружил в должном месте, глубоко под землей, остатки фундамента. Он восстановил часовню и написал об этом прелестный рассказ.

Музейный работник, Гейченко знает цену вещам, знает, как много могут сказать вещи о душевных свойствах человека, его привычках, образе жизни. Скромный дубовый ларец с отделкой из вишневого дерева, сработанный деревенским умельцем по заказу Арины Родионовны в подарок поэту Языкову, позволил Гейченко набросать нежный тонкий эскиз трогательных отношений юного пылкого дерптского студента с «дряхлой голубкой» Пушкина.

Поистине «к груди прикипает слеза», когда читаешь рассказы о чудовищном по старательности, скрупулезности — на грани

злодейского подвига — уничтожении фашистами Пушкинского заповедника. В разгар боевых действий, готовясь к отступлению, гитлеровские специалисты с научной тщательностью распределяли взрывчатку, мины, снаряды по объектам заповедника: столько-то Михайловскому, столько-то Тригорскому, столько-то Святогорскому монастырю и отдельно — для могилы поэта. А другие «литературоведы» столь же старательно упаковывали для отправки в Германию пушкинскую мебель, картины, книги, архивы, курительные трубки и дуэльные пистолеты.

И бесконечно трогают страницы, посвященные освобождению заповедника нашими воинами, спасению заминированной могилы Пушкина и всего святого места, — с какой сознательной, опекающей любовью к поэту совершали артиллеристы, пехотинцы, саперы свой нелегкий труд!

В Михайловском повторилась история феникса, только дивная птица сама воссоздавала себя из пепла, а сожженную усадьбу возрождала великой любовью, самоотвержением, беззаветным трудом кучка энтузиастов, возглавляемая инвалидом Отечественной войны Гейченко, и конечно же, им помогали окрестные люди, эти пушкинисты милостью Божьей. Возводились постройки по старым планам и рисункам, залечивались глубокие раны парковых елей, берез, дубов, лип и сосен, разбивались сады, отыскивались — в неметчине тож — мебель и утварь, если и не из самого пушкинского дома, то из того же дворянско-усадебного обихода первой четверти прошлого века, собирались по окресту колокола, чтобы вновь распахнуть грудь Святогорского монастыря, и над Вороничем, и над Маленцом и Соротью, над Савкиной горкой, над Михайловским и Тригорским полетели древние звоны, бывшие на слуху еще Стефана Батория.

Гейченко поставил себе целью вернуть заповеднику и всю живность пушкинских дней. Он подкармливает семечками, зернами и свежим мясцом соек, синиц, поползней, чечеток, снегирей, оберегает ласточкины гнезда; в развилке старой липы у входа в усадьбу пристроил тележное колесо, на котором каждый год свивает гнездо красноклювый аист; многочисленные скворечники старинной архитектуры, разбросанные по всему Михайловскому, служат приютом в летнюю пору скворцам, в зимнюю — белкам. А еще обитают в Михайловском цапли на верхушках старых сосен возле озера Маленец, мудрый ворон, делающий вид, будто помнит первых Ганнибалов, и вороны, занимающиеся подледным ловом на озере Куган. Это не шутка, Гейченко не раз наблюдал, как они вытягивали клювами из лунок живцов, когда рыболовы, закинув удочки, уходят на ночевку.

Не ради шутки и красного словца обмолвился я выражением «пушкинисты милостью Божьей». Не побывав в Святых горах, невозможно вообразить, насколько пропитано Пушкиным бытие тамошних людей, их повседневное самочувствие, их память. Рассказы о странном барине, спознавшемся и разлученном с крестьянской девушкой, любившем сказки своей няни и песни таборных цыган, мельтешню базаров, где он появлялся в кумачовой рубашке с пояском, молодецкую потеху кулачных боев, бешеную скачку по полям и прицельную стрельбу из пистолетов, о кудрявом барине, забавнике и шутнике, делавшем дурака из попа Лариона и беззлобно получавшем сдачи, любимце тригорских барышень, самой хозяйки и ее красавиц гостий, о смуглолицем блондине с толстыми губами (чужакам его облик казался куда причудливее, нежели местным, приглядевшимся к ганнибаловой породе), бесконечные рассказы о нем передавались из уст в уста, из поколения в поколение, помогая сохранить тот живой, незастывающий образ, что делает Пушкина, столь далекого от нас, самым близким из всех великих русских писателей.

Не случайно Гейченко целый раздел книги уделил «Рассказам деда Прохи» из деревни Савкино, что против пушкинской усадьбы.

«Был дед Проха живой историей пушкинских мест. Родился еще при крепостном праве, пережил трех царей, три революции, войну четырнадцатого года, Гражданскую войну и Великую Отечественную. Память его хранила рассказы про недавнее и далекое, в особенности про далекое прошлое Вороничанщины — про войны, богатырей, клады, разбойников, дива дивные, чертей, леших и домовых».

Но дальше Гейченко передает рассказы деда Прохи лишь про одно диво дивное, про одного богатыря отечества, стоящего многих других. Дед сказывает и о детских шалостях поэта, и о милой ему кулачной забаве, и о том, как строился барский дом в Михайловском, и как он, Проха, «байню» уважает (с намеком: мол, Пушкин тоже попариться горазд был), и, наконец, о том, что можно считать настоящим открытием, достойным внимания Пушкинского дома: «Есть у Александра Сергеевича стишок о Михайловских соснах, что росли тогда на границе земли Пушкиных. Только в книгах пишут неправильно. Пишут „на границе владений дедовских“, а нужно „владений дедовцев“. Ведь рядом-то с Михайловским была земля деревни Дедовцы, а не чья другая. Дедовские мужики как-то даже жалобу в земство писали, чтобы исправили ученые эту ошибку. Только земский никакого движения этой бумаге и не дал. Так и заглохло все. А теперь

писать неудобно. Теперь все люди грамотные стали и во всем сомневаться перестали. Верят в книгу, как в Библию, а разговорам не верят», — жаловался Семену Степановичу дед Проха.

Но пожалуй, ни в чем так не проявилась влюбленность местных людей в Пушкина, как в одном негромком событии, с доброй улыбкой поведанном Семеном Гейченко.

В деревушке, под боком Тригорского, спокон веку жили сплошь Егоровы. Конечно, это вызывало множество неудобств и всякой путаницы, тем более что мужики именовались по большей части Егорами Егоровичами Егоровыми. И во время паспортизации им предложили поменять фамилии. Ну естественно, все захотели в… Пушкины. Кое-кому удалось, но тут паспортисты спохватились и стали усовещивать людей, мол, что же вы опять под одну фамилию стремитесь? Сами же жаловались, что житья нет от досадных недоразумений! И тогда появились на свет новые Рылеевы, Пущины, Назимовы и прочие однофамильцы близких друзей поэта. Лишь один неторопливый дед, пропустив вперед себя всех односельчан, остался Егоровым. Зато супруга его, явив яркую силу воображения, «взяла фамилию хоть и не совсем пушкинскую, но весьма выразительную и благозвучную — Дуэльская»…

Не могу не поделиться и одним личным переживанием. Как-то раз, подымаясь на крутой холм городища Воронин, я нагнал рослую грузную старуху на распухших, в темных венах, ногах. Она тоже карабкалась наверх. «Тяжело мне, а каждый день тащусь, — сказала она со вздохом. — Коли не огляну окрестность, так мне и день будет не в день». А окрестность эта — весь пушкинский мир с Михайловским, Тригорским, Святогорским монастырем, Савкиной горкой, Соротью, Маленцом…

И когда мы одолели подъем и стали на обдуваемой теплым ветром высоте, старуха заговорила тусклым, без выражения голосом, то ли адресуясь ко мне, то ли не помня о моем присутствии. Она вспомнила о своей бабке, о том, как та дружила с горькой дочерью старосты Калашникова, что являлась Пушкину «ранней звездочки светлее». Она говорила о любви Пушкина, начавшейся так свежо, доверчиво, безоглядно и завершившейся так печально, тягостно, по крепостному уставу. Все звучало знакомо и обычно, как застывшее предание. Поразило меня другое: где-то в монотонном бормоте бабушка этой старухи слилась с Ольгой Калашниковой, стала героиней былины о разлученных силой любовниках, затухала же история на бескровных губах и вовсе удивительно: «Гладил он меня по голове, по косам теплым и все умолял простить ему, не со зла, а по любви беду на меня навлек»… На одутловатом лице

исцветшие голубые глаза слезились влагой неизбывного горя, будто старуха и впрямь сама пережила то короткое счастье и долгое страдание. И в этом не было омраченности запутавшейся в яви, снах и грезах дряхлой души, заблуждения истратившегося мозга. Но легко ли прожить без малого век в соседстве с такой тенью и сохранить бедную трезвость здравомыслия!..

В личности Пушкина есть нечто покоряющее, чарующее, колдовское, и за слишком тесное сближение с ним люди иной раз расплачиваются не только утратой собственной сути, но и сужением чувства всего остального мира. Я знавал среди пушкинистов таких вот фанатиков чужой великой судьбы.

Семена Степановича Гейченко, как говорится, Бог уберег, он обладает отменным духовным здоровьем, внутренне свободен, открыт всем краскам, звукам, впечатлениям жизни, труду широкого размышления, радости внезапных наитий, порой вовсе и не связанных с Пушкиным. Да, он влюблен в Пушкина, но вовсе не порабощен поэтом. Для него Пушкин немыслим вне всей культуры, истории, духовней жизни народа. К тому же он любит шум сиюминутного бытия, солнце, свежесть грозы, морозный воздух, дружескую беседу, спор, крепкий сон и раннее пробуждение, любит живых несовершенных людей и пользуется ответной любовью.

Гейченко по образованию и по профессии музейный работник, но это не значит, что ему близка лишь область материальной культуры. Он широко осведомлен в искусствах, великолепно знает литературу, особенно XIX век, чувствует себя как дома в русской истории. Гейченко прекрасно владеет речью, но он не говорун в застольном смысле слова. В каждой его шутке — соль мудрости, жизненного опыта. А главное, он творческая личность, что превосходно доказал своими радостно талантливыми рассказами. Его книга «У лукоморья» дышит Пушкиным, дышит древней псковской землей, изведавшей и горе лютое, и радость светлую, дышит озерной и речной свежестью, дышит мудреными загадками русского характера…